

Жонглер (рассказ)¹



1. В вагоне

Мне было все равно, как реагировали на меня окружающие. Достаточно было того, что они не обходили меня стороной. Ведь не каждый день увидишь человека, жонглирующего шариками без рук.

Впрочем, внимание публики мне давно осточертело: хотелось чего-то большого. Хотелось выхода туда, где не было «нет», «не знаю» и «не могу». Однако пока единственное, что я умел делать хорошо – это жонглировать шариками без рук.

¹ Впервые опубликовано: «Пролог». Интернет-журнал молодых писателей. М., 2008. <http://www.ijp.ru/razd/pr.php?failp=07602200842>. Автор рисунка - семилетняя Юлия Рыбина, областной специальный (коррекционный) детский дом г. Новосибирска.

Говорят, это умение досталось мне от деда. Может быть, да только вот беда: я его плохо помню. Детство вообще для меня – тайна за семью печатями. Поэтому любое упоминание о деде для меня – пустой звук.

Однажды на улице я увидел продавца шаров, наполненных гелием. Привязанные к баллону, они трепетали на ветру и стремились вверх. В этом стремлении не было цели: иначе просто не могло быть. Когда бросаешь с обрыва камень, незачем ожидать, что он порхнет вверх, словно птица. Так же и здесь: от шаров нельзя было ожидать ничего, кроме их стремления вверх. Мне было тогда лет пять, может, и шесть: я плохо помню свое детство...

Когда шары взмыли под очередным порывом ветра метров на пять вверх, продавец заметался, как паяц размахивая руками, но все было бесполезно: ничем не связанные, десятки шаров еще долго дразнили взгляды толпы, пока не растворились в облачном дыме.

Это был мой первый опыт в жонглировании.

Жонглировать с помощью рук и жонглировать так, как это делал я, – это, конечно, разные вещи. Но один из основных принципов одинаков: в этом деле главное – понять, в чем «закавыка»: далее – дело техники и упорных тренировок. Но до тех пор пока ты не понял «закавыки» – не быть тебе жонглером. Тот же принцип соблюдается при обучении многим другим простым умениям: плавать, ездить на велосипеде, кидать нож в дерево (так, чтобы обязательно втыкался, дребезжа металлом и рукояткой).

Пока не понял сути, которая всегда проста, но не всегда очевидна, двигаться далее нельзя. Так и здесь: для того чтобы жонглировать, нужно понять, как это делается. Это естественно, это элементарно. Но почему-то мало кто из знакомых мне людей способен управлять движением предметов, не прикладывая при этом каких-либо видимых усилий.

Когда я хочу передвинуть, например, чашку кофе с одного края стола на другой, я могу сделать это с помощью рук. Тем самым один предмет – в частности, часть моего тела, руки – будут использоваться в качестве «двигателя». Это воздействие, чуждое предмету. Мы не задаемся вопросом, насколько оно соответствует стремлению, интенции самого предмета...

Впрочем, всё это – отвлеченности, сухие абстракции. Я же всегда хотел живого и чувствующего. Именно умение жонглировать доставляло мне наиболее острое из всех возможных удовольствий, помогало ощущать жизнь всем существом и – любить ее.

Работа в цирке давно перестала радовать меня: каждый день одно и то же – и никакого движения вверх, никакого обновления.

Я ушел оттуда, никому не сказав ни слова на прощание. Там не было ни одного человека, по которому затосковало бы мое сердце. Наверное, это было грубо, наверное, я выглядел как неблагодарное животное: все-таки именно цирк взрастил, выкормил меня, развил мои способности.

Однако никаких угрызений совести по этому поводу я не испытывал и не испытываю...

К пьянящему воздуху свободы примешивалась неповторимая вонь пассажирского вагона. Я взял билет до случайно выбранной станции: важно было только то, что она находилась за сотни километров от цирка.

Кроме меня, в купе ехало еще трое: мать с маленькой дочерью и мужчина, выглядевший как солидный бизнесмен. Оказалось, что – сантехник, возвращавшийся с покупками домой. В общем, попутчики первоначально показались мне не стоящими даже наблюдений вскользь. Однако час совместного и мерного покачивания на рельсах убедил меня в обратном.

Не прошло и нескольких минут, как «солидный бизнесмен» rispetабельно развернул грудь и начал легкую светскую беседу с нашей попутчицей. Темы подбирались самые банальные – покупки, виды за окном и т.п.: очевидно, сантехник был не прочь затеять небольшой флирт с хорошенькой мамашей, – благо, присутствие шестилетней дочки помехой быть не могло. Помехой мог быть только я, однако мой отрешенный вид и сероватый – по сравнению с его новеньким костюмом – пиджачишко сулили и здесь ряд явных преимуществ.

Я описываю эту сценку так подробно только потому, что она послужила началом всех последующих событий и изменений. (Конечно, я имею в виду – событий моей жизни и изменений меня самого. О другом я далее писать здесь и не собираюсь). Не в том смысле, что совместная поездка с сантехником, мамашей и ее ребенком явились причиной всего, что последовало далее. Нет. Просто так совпало, что наблюдения за этими людьми открыли мне новые горизонты меня самого.

Флирт продолжался. Примерно через двадцать минут небогатый багаж тем для беседы истощился, и сантехник перешёл к анекдотам. Мамаша пару раз ободряюще хохотнула в кулачок в необходимых местах. Это послужило сигналом для перехода к анекдотам нового типа – по степени возрастающей пошлости.

Поскольку смех в нужных местах регулярно возникал, покорение женского сердца происходило быстрее, чем наш поезд добирался от одной станции к другой. Мой интерес к соседям по купе уже собирался перейти в глубокий и здоровый сон, как вдруг я почувствовал определенные изменения на уровне энергетическом.

Последнее словосочетание, конечно, требует пояснений. Однако прибегать к ним я не буду, так как со временем необходимость в них отпадет сама собой. В ином случае я рискую утяжелить многочисленными отступлениями мой и без того нелегкий рассказ.

В районе солнечного сплетения нечто заняло, и всё тело превратилось в отсиженную ногу. Стараясь не привлекать внимания, я краем глаза стал искать причину моего состояния.

В последний раз я испытал подобное, когда поссорился с одной цыганкой. Два года назад какая-то женщина лет пятидесяти, одетая в цветастые лохмотья, подошла ко мне на остановке и стала настойчиво предлагать свои стандартные услуги: «Всю правду скажу! Дай руку, сними кольцо, – всю правду скажу». Я был в плохом настроении и грубо отказал. Тем более что всегда не любил цыган. Отвернувшись от неё, я сделал несколько шагов в сторону и тут почувствовал то, что ощущал сейчас в вагоне. Кто-то обхватил мое солнечное сплетение цепкой ладонью и несколько раз болезненно сжал его. Когда отпустило, я начал искать цыганку, но та растворилась в толпе. Потом я несколько дней не мог жонглировать шарами и бледнел при одной мысли о том, что об этом узнает директор цирка (по совместительству – мой отчим).

Так я впервые встретил человека, обладающего способностями, схожими с моими. Мне это не понравилось.

Беседующие в купе взрослые не вызвали во мне отклика, и тогда я взглянул на девочку. Все произошло случайно и как-то само собой. Только спустя время я понял, что случайность была закономерностью: я выполнил все необходимые приготовления для того, чтобы начать видеть (привел себя в состояние, близкое ко сну; наблюдал краем глаза; неожиданно почувствовал себя открытым, незащищенным и т.д.). И я увидел. На том месте, где сидела девочка, находилось небольшое бледновато-розовое пятно. За доли секунды оно потемнело, и от пятна отделилась сиреневая масса, которая, как змея, метнулась в сторону сантехника и ударила его в районе лба.

Я вскочил с места, словно с раскаленной сковородки. Купе приняло прежний вид, и я увидел (скорее, почувствовал), что все трое моих соседей удивленно воззрились на меня. Быстро извинившись, я пулей вылетел в коридор и помчался к открытому окну возле туалета. Пять минут я приходил в себя под струей проносящегося мимо воздуха. В голове был туман, но и в таком состоянии я смог догадаться о причинах произошедшего.

Это – ревность или месть, или и то и другое вместе. Но сознательно или бессознательно был нанесён удар? Её возраст не предполагал понимания собственной силы. Тогда мне было двадцать, и я был далек до полного контроля над своими способностями. Впрочем, не это меня волновало: я чувствовал необычайное возбуждение

и радость оттого, что открыл в себе нечто новое. Значит, существует возможность развития! Стоило только вырваться из душной атмосферы цирка, где ничего, кроме ловкости (правда, ловкости своеобразной), мне развить не удалось; стоило только сменить привычное и надоевшее окружение, – и вот оно – долгожданное откровение!

В приподнятом настроении я отправился в сторону своего купе. Через мгновение от радостного настроения не осталось и следа: в дверях купе столпилось несколько человек. Среди них выделялось встревоженное лицо проводника, то и дело поглядывавшего в другой конец вагона. «Сейчас, сейчас он должен подойти!» – бормотал он, словно причитая по кому-то. Подойдя, я увидел лежавшего (почему-то на моем месте) сантехника, над которым наклонился какой-то другой мужчина в черном костюме. Оказалось, что это был наш сосед по купе: он умел делать искусственное дыхание, чем сейчас активно занимался. Ожидали кого-то из медработников, сопровождающих поезд. Я отделился от собравшихся и принялся рассматривать в окно пробегающие мимо столбы. Тут только я заметил стоящих ближе к другому концу вагона бледную мамашу и смотревшую в окно девочку.

Никакого розового пятна – девчонка как девчонка. Я решил, что правильнее будет подойти к ним. Спросив, что случилось, я выслушал мало занимательную историю про внезапную бледность собеседника, обморок и т.д. Говорила, конечно, женщина. Девочка терла пальчиком стекло вагонного окна и была задумчива.

Врач наконец-то объявился и сделал несколько уколов своему внезапному пациенту. На ближайшей станции не приходящего в себя пассажира пришлось эвакуировать не без моей и соседа по купе помощи.

Мне предстояло ехать еще почти сутки, но я решил сойти на той же станции, где высадили сантехника. В конце концов мне было всё равно, где выйти, а провести еще несколько часов рядом с такой опасной соседкой желания не было. На сегодня открытий достаточно.

2. На вокзале

Скорая умчалась довольно быстро. Я не стал уточнять, куда повезли моего недавнего попутчика. Внутри была уверенность в том, что при необходимости я всегда смогу разыскать его: по всем признакам, городишко, к которому относилась приютившая меня станция, был столь мал, что навряд ли в нем был большой выбор, куда вести *умирающего*. Более того, по какой-то нелепости после того, как мы положили сантехника на носилки, мне достался его чемодан. «Видимо, решили, что я – его родственник или близкий друг, – подумалось мне. – Тогда почему же мне не сказали, куда его увезли?». Впрочем, меня это

заботило всего несколько минут: я решил, что долго здесь не задержусь и, вернув чемодан, отправлюсь дальше.

«Но почему я сказал себе “умирающего”?».

Я постарался избавиться и от этой тревожной мысли, несмотря на то, что обычно внимательно относился ко всем внутренним подсказкам.

[...]

Словоохотливая старушка, торгующая семечками около вокзала, встретила меня такими словами: “На станции покушать, сынок, не найдешь. Иди дальше. Там тебя накормят, горемычной!”.

Последнее ее словечко меня насторожило, и я невольно передёрнул плечами. Ничего не сказав в ответ, я пошел прочь от станции. Шагов через десять мне снова пришлось обернуться в сторону торговли: бабка во весь голос причитала над только что перевернувшимся ведерком с семечками. Я увидел, как она бросилась перед ним на колени, пытаясь собрать рассыпанное.

Первым моим порывом было помочь ей, но бабка, стоя на коленях, взглянула на меня и почему-то погрозила в мою сторону кулаком.

Несколько озадаченный я пошел дальше в поисках закуской. Шагов через сто, повернув за угол, я наткнулся на то, что искал.

Забегаловка представляла собой помещение полуподвального типа на шесть посадочных мест. Два из них были уже заняты. Рассмотреть сидящих подробнее мешал приятный полумрак и здешний запах, напрочь отбивающий всякий аппетит. Слегка поморщившись, я направился в сторону продавца и заказал несколько безобидных на вид пирожков с минералкой.

Затем я устроился в противоположный от уже занятых мест угол кафе, поставил чемодан под ноги и вознамерился откусать. Однако мое желание спокойно поесть было пограно самым бесцеремонным образом. Сидящие поднялись, подошли к моему столику и, подвинув к нему два стула, сели рядом. Все это было сделано в живописной манере «а щас мы посмотрим, что это за перец!».

Передо мною сидели двое мужчин лет тридцати-тридцати пяти. Судя по виду, в жизни им гораздо чаще приходилось работать руками и мускулами, нежели головой. У обоих были красноватые лица с однодневной щетиной. В первый момент они мне вообще показались братьями-близнецами, но затем я нашел несколько незначительных отличий. Один из них – сутулый, с серыми глазами и длинным носом, оканчивающимся острой частью, которая напоминала клюв, – явно доминировал над своим более рослым

приятелем. Именно сутулый заговорил первым. От перегара меня слегка замутило. «Ты кто такой?».

Вопрос был столь фундаментален, что я успел откусить ещё кусок пирожка, размышляя над ним.

Длинносый продолжил: «Ты чё – глухой, что ли? Курить есть?». Я продолжал жевать, еще не решив окончательно, в какую сторону повернуть ход событий. Так как немедленного ответа не последовало, в игру вступил его более крупный напарник: «Да ты охренел, что ли...», – последовало несколько еще более крепких слов, видимо, обычно используемых им в таких ситуациях. Чувствовался хорошо слаженный и отработанный ни на одном мне сценарий.

Со стороны копошившегося за прилавком хозяина забегаловки не последовало никаких замечаний: вероятно, всё шло как всегда.

Я с интересом ждал продолжения: неужели в ход пойдут кулаки, прямо не выходя из закуской? Небритое красное лицо того, что был крупнее, тяжело дышало в десяти сантиметрах от меня.

Я закончил жевать и принялся открывать минералку. Это явно не входило в сценарий привычного действия, и они замешкались на целую минуту. Наконец, сутулый резко нагнулся и мгновенно овладел чемоданом сантехника.

«Щас посмотрим, что у тебя здесь», – на моих глазах он стал возиться с замками чемодана. Я отвернул крышку пластиковой бутылки и сделал пару глотков, наблюдая за попытками открыть чемодан. К моему и его неудовольствию, старый добрый советский чемодан оказался с кодовым замком. Ничего не добившись, сутулый выругался, всучил чемодан своему товарищу и предложил мне: «Ну, чё, выйдем?»...

Ситуация давно перестала мне нравиться. Раньше я никогда не пользовался своими способностями для самозащиты, нападения, вообще – какого-либо воздействия на людей. Мне просто не приходило это в голову, да и подходящих случаев для такого применения силы в моей жизни не возникало.

Существенным фактором, не позволявшим мне использовать свой дар так, как я применил его тогда в забегаловке, была заметная ограниченность моих сил. После выступления (в основном, я жонглировал шарами и мелкими предметами) я всегда очень уставал и в последнее время начал страдать резкими приступами головной боли.

Главным моим коньком всегда была ловкость: я отточил свое мастерство по организации различных фигур из парящих в воздухе предметов до такой степени, что мог создавать сложнейшие композиции. Последним моим достижением был целый город, выстроенный из летающих мелких шариков. Прекрасный город парил над зрителями,

медленно вращаясь и поднимаясь под самый купол. Помнится, я был горд и счастлив, выступая с премьерой этого номера.

Самым важным в моей цирковой работе было то, что, выступая, я никогда не терял контроль ни над способностями, ни над своими мыслями и эмоциями. С каждым выступлением я только усиливал свое умение управлять.

Надо признаться: то, что произошло далее в кафе, мною контролировалось мало...

Вообще, я никогда не любил общество и общение: друзей у меня почти не было, говорить и рассказывать я не умел и не любил. Быть может, этим объяснялась моя крайняя раздражительность при контактах с теми, кто в том или ином аспекте не разделял моих убеждений и выводов. В цирке мой характер был известен всем. Многие по этой причине старались избегать меня и замолкали, когда я входил...

Когда сутулый взял чемодан, я ощутил, что мои конечности начали неметь. Казалось, что вся кровь от головы и рук хлынула куда-то в солнечное сплетение и остановилась там. Я услышал, как сердце замерло, а затем бешено застучало в районе живота. Раздражительность переросла в настоящую злобу.

Сутулый схватил меня за рукав рубашки и стал тянуть к выходу. В этот момент что-то прошелестело в воздухе и со звоном разбилось о голову длинноносого...

Произошедшее далее я помню смутно. Помню, что брел по городской улице, уходя прочь от станции. Мимо проезжали редкие автомобили. Начинало вечереть. В левой руке болтался злополучный чемодан. Когда стемнело, я оказался возле желтовато-грязного двухэтажного здания – местной больницы.

На душе было необыкновенно тяжело: я не знал точно, что произошло в закуской, однако понимал, что случилось нечто страшное. Причем не столько внешне, сколько внутренне. Я позволил себе нечто такое, что позволять было нельзя. Голова была чугунной, и хотелось спать.

Подойдя к решетчатым воротам больницы, я обнаружил кнопку звонка. На мой сигнал вышла плохо накрашенная медсестра и сообщила ожидаемое: «Приём посетителей давно закончен, приходите завтра!». Потратив некоторые усилия, мне удалось уговорить медсестру не выставлять меня сразу и узнать, здесь ли мой сантехник. Она поворчала и спросила его фамилию. Услышав, что я не знаю, она замахала руками и принялась, как заведенная игрушка, повторять: «Завтра. Приходите завтра! Всё завтра. Завтра».

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Уже прощаясь, я догадался спросить медсестру, есть ли в городе гостиница. «Только на вокзале», – ответила она и захлопнула дверь перед моим носом.

Идти в сторону вокзала после случая в забегаловке мне совсем не хотелось. Ночевать на улице в незнакомом городе – перспектива тоже не самая радостная. Единственное, что успокаивало, – присутствие во внутреннем кармане моей легкой куртки относительно приличной суммы. Это было всё, что удалось скопить за последние полгода – времени, которое я потратил на подготовку побега из цирка.

Я двинулся дальше вглубь города и вскоре поймал такси. Таксист – молодой парень лет двадцати пяти – оказался лучше, чем медсестра, осведомлен по части городских гостиниц и довольно быстро доставил меня на другой конец городка, где имелся какой-то ресторан с возможностью заночевать в отдельном номере.

Расплатившись, я добрел до своей комнаты (заведение больше напоминало студенческое общежитие) и, войдя, сразу распластал свое тело на неразобранной кровати. Там оно и оставалось до утра.

3. Картина

Проснулся я совершенно разбитый. Поплелся в единственный на всю гостиницу туалет и попытался взбодрить себя умыванием.

Ничего не вышло. Спустившись в ресторан, я заказал себе легкий завтрак и уже за едой стал доискиваться причины моего смутного и подозрительно напоминающего депрессию состояния.

Вчерашний случай в кафе был уже пережит и эмоционально приглушен. Тут что-то новое. Я начал мутными глазами оглядывать небольшое помещение ресторана, и мой взгляд остановился на картине, висевшей на противоположной от меня стене. Неожиданный холодок пробежал по всему позвоночнику: я где-то видел эту картину! Я помню её! Вскочив, я пересек ресторан и остановился возле стены. Картина висела достаточно высоко: те, кто ее вешал, явно не предполагал, что ее будут пристально разглядывать.

На полотне широкими мазками масляной краски был изображен какой-то городской пейзаж. Приглядевшись внимательно, я понял, что на картине нарисованы местный вокзал и небольшая площадь перед ним. Зелеными точками выделялась трава, пробивающаяся в трещинах асфальта. С левой стороны от площади в каких-то приглушенно-темных тонах была изображена закусовая, в которой я вчера испытал неприятное приключение.

По точности передачи деталей картина напоминала, скорее, фотографию. Художник не забыл ни одной мелочи: два больших фонарных столба недалеко от остановки; полуразрушенный памятник в центре площади; старые деревья с листьями, уже предчувствующими осень. На секунду мне показалось, что я усилием чьей-то воли

перенесся во вчерашний день, когда, отправив сантехника на «Скорой», я побрел в сторону злополучной забегаловки. Я словно вдруг приподнялся над вокзалом на высоту птичьего полета и увидел то, что случилось со мной вчера, но с другой, не своей, точки зрения.

Медленно скользя глазами по картине, я неожиданно разглядел фигурки двух человек, которые были едва заметны с той условной высоты, с которой изображал увиденное автор картины.

Одна фигура, обозначенная несколькими смутными пятнами, находилась совсем недалеко от серого здания вокзала. Другая – какая-то вытянутая, темно-синяя, размытая – была помещена художником на левую сторону площади, заканчивающейся закускойной.

Я немного отошел от стены, на которой висела картина, чтобы широкие мазки, вблизи принимающие вид пятен, приняли удобный для глаза вид. Неясная, почти безумная догадка уже начала ускорять стук моего сердца, неприятным ознобом пробегая по всему телу. Я закрыл глаза и, стараясь оставаться объективным, еще раз посмотрел на полотно. Остановившись на изображенных людях, которые вовсе не являлись композиционным центром картины (скорее, представляли собой пойманные взглядом художника элементы пейзажа), я совершенно четко осознал: на картине изображена станция вчерашнего дня. Фигурка около вокзала – торговка семечками, причитающая над опрокинутым ведерком; размытое, темно-синее пятно с чем-то коричневым в руке – я, шагающий к закускойной и держащий в руке чемодан.

Утренний свет от окон ресторана поплыл у меня перед глазами, и ноги стали совсем ватными. Я тяжело опустился на ближайший стул.

В столь раннее время в ресторане было всего два посетителя (один из них – я). Судя по всему, мое поведение уже давно привлекло внимание немногочисленного персонала. Ко мне подошел официант в потертом костюме и спросил: «Вы что-то хотели?» – «Я бы хотел... – запинаясь, проговорил я, – хотел бы узнать...» – «Да?» – невозмутимый и слегка нахальный вид официанта привел меня в чувство. «Эта картина – давно у вас? Кто ее автор?».

В глазах официанта промелькнуло некоторое удивление, но потом он, явно потеряв ко мне интерес, пробормотал: «Картина? Да Бог ее знает... Она всегда здесь висела. Нет, сначала она висела вон там. – Он показал на противоположную окнам стену. – Потом был ремонт, и ее прибили сюда». Довольный своим ответом, он собирался покинуть излишне любопытного клиента, но я все-таки остановил его: «А автор? Кто автор?» – «Да кто-то из друзей шефа, то есть нашего директора», – поправил он сам себя и почему-то сразу

засуетился, смахнул крошки с соседнего столика и тут же исчез в дверях служебного помещения.

Я посидел за пустым столиком еще пару минут, раздумывая, что делать с этой бессмысленной ситуацией (по крайней мере тогда никакого смысла в этом открытии я не увидел; да и кто смог бы его увидеть?). Встав, я собрался пойти к себе в номер, поскольку совершенно забыл о своем незаконченном завтраке, оставленном на другом столике. Но меня остановила мысль о том, что картина может иметь авторскую подпись (то, что это оригинал, никакого сомнения не было). Через минуту я обнаружил едва заметные закорючки в одном из нижних углов полотна. Буквы подписи почти сливались с темным стволом изображенного дерева, однако мне удалось разобрать дату и фамилию художника. Картина была написана четыре года назад. Фамилия – либо Смирнов, либо Смурнов. Эта информация не добавила ничего нового к уже увиденному. Кинув прощальный взгляд на загадочную картину, я постарался уверить себя в том, что замеченное сходство картины с моими воспоминаниями вчерашнего дня – всего лишь фантазия, результат стресса от непривычной обстановки. В общем – глупость.

Разрешив таким образом эту проблему, я отправился к себе в комнату.

4. В морге

Утренние облака рассеялись над городом, и выглянуло солнце. Это, а может быть, и чашка недопитого кофе существенно улучшили мое самочувствие.

Я решил завершить дело с возвращением чемодана. Завладев гостиничным телефоном, я обзвонил местные больницы (всего их оказалось три) и вскоре, несмотря на незнание фамилии сантехника, сумел определить его местопребывание.

Тонкий женский голос на том конце провода замолчал на минуту (искали сведения о новых поступивших), а потом осведомился, кем я прихожусь пациенту. «Близкий знакомый», – ответил я и как-то сам поверил в это. «Сожалею, – бесстрастно ответил голос, – Доргин Василий Петрович, гость нашего города, скончался сегодня ночью, не приходя в сознание...» – «Вы уже позвонили кому-нибудь из его родственников?» – «Да, с ним была записная книжка. К нам едет его жена и дочь» – «Я сейчас к вам приеду!» – крикнул я в трубку.

Быстро одевшись и схватив чемодан, я спустился вниз. Там заплатил за номер на три дня вперед, вызвал такси и спустя 20 минут уже шел по больничным коридорам (молоденькая врач, узнав, кто я и зачем приехал, проговорила нечто маловразумительное и затем повела меня к главврачу). Главврач – пожилой, грузный мужчина – выслушал меня и сказал: «Конечно, мы передадим родственникам его чемодан, как только они

приедут. Если хотите, вас отведут в морг, чтобы вы... ну, понимаете...». Я согласился: мне вдруг показалось важным удостовериться, что умерший и мой сантехник – один и тот же человек.

В морг – розовое здание недалеко от больницы – я пошел в сопровождении медсестры. Сантехника я узнал сразу. Медсестра и еще кто-то в белом халате стояли неподалеку и старались не мешать мне, пока я смотрел в лицо бывшего попугайчика.

Странные чувства овладели мною в ту минуту. Я ощутил непонятное родство с умершим, неопределенную тонкую связь между ним и мною. Эта связь была совсем непохожа на ту, что возникает иногда между убитым и невольным свидетелем преступления. На мгновение мне показалось, что это я лежу там – такой бледный и отделенный от жизни, а он наклонился надо мной и пристально смотрит в лицо. Мои руки похолодели и, видимо, меня заметно «заштормило», так как тут же раздался встревоженный голос сзади: «Вам плохо?». Я отрицательно покачал головой и направился к выходу. Уже выходя из здания морга, я осознал, что у чувства, завладевшего мною, когда я рассматривал лицо умершего, есть вполне конкретное название: я ощущал непонятную ответственность, точнее – какую-то внутреннюю несвободу, неслучайность всего произошедшего.

Главврач вручил мне расписку за чемодан, которую я потерял почти сразу, как вышел с территории больницы. Внутри была опустошенность, которую обычно испытываешь, когда цель достигнута. Но что это была за цель? Глупость, глупость, глупость!..

5. Директор

«Не Смирнов. Смирнова. Катя Смирнова – дочь моего друга. Чем же вас заинтересовала эта картина?» – его взгляд был серьезен и даже строг. Мне стало не по себе. Идея обратиться к директору ресторана перестала казаться мне разумной. «Понимаете, – сказал я, неестественно растягивая слова и всем видом демонстрируя отсутствие интереса к тому, что произношу, – я коллекционирую такие работы. Собираю картины, так сказать, малоизвестных художников...».

«Она вовсе не художник! – поспешно ответил он. – Она... она просто больной человек. Только и всего» – «Могу ли я попросить вас продать мне эту картину? И я бы с удовольствием посмотрел другие ее работы, – дочери вашего друга?».

На последние мои слова директор среагировал весьма своеобразно: он вдруг совсем по-женски ойкнул и забавно прикрыл рот рукой. Я с интересом стал ждать продолжения.

Директор медленно встал с кресла и начал механически прохаживаться по своему небольшому кабинету из одного угла в другой. Я молчал, следя за его перемещениями по

комнате. Так продолжалось несколько минут. Я подумал, что он, вероятно, забыл о моем присутствии, и слегка кашлянул.

Директор прекратил ходить и снова сел передо мной. «Так это вы...» – проговорил он, глядя на меня так, словно я вдруг превратился в нечто необыкновенное. Он немного помолчал и снова повторил как окончательный вердикт: «Значит, это вы...».

«Простите, – осмелился я. – Не совсем понимаю, что вы имеете в виду...». Все эти странности начали порядком раздражать меня. Я решил уехать из этого городка завтра же утром и даже привстал, словно собираясь сесть в поезд прямо сейчас.

Директор, заметив мое движение, обеспокоенно вскочил: «Простите меня за несколько странное поведение... Все это долго объяснять. Да и вам, наверное, незачем... Незачем знать всё. А что касается картины – примите ее в подарок на память о посещении нашего города». Я поблагодарил его и немедленно вышел из кабинета. На душе было как-то неуютно. Решение уехать завтра же утром превратилось в нестерпимое желание.

[...]

Заканчивался второй день моего пребывания в городке. Я спустился в ресторан, чтобы поужинать. Картину уже успели снять, заменив ее на какую-то дешевую репродукцию.

Я быстро справился с тем, что принес знакомый официант в потертом костюме, и затем поднялся к себе в номер. Закрыв дверь, я лег на неразобранную кровать и постарался заснуть.

Промучившись с час, я понял, что сна придется ждать долго. Я включил настольную лампу и решил использовать свое старое испытанное средство от бессонницы – немного пожонглировать. Обычно уже через полчаса утомление от этого занятия переходило в долгожданный сон. Небольшой футляр с яркими пластмассовыми шариками всегда был со мной. Это то небольшое, что я позволил взять себе в качестве багажа. В остальном я надеялся на себя и на скопленную сумму денег в кармане.

Шарики напоминали те, которые применяются при игре в пинг-понг, но отличались от последних размером (не больше копеечной монеты). В футляре их помещалось около тридцати. Я высыпал их все на кровать и испытал давно забытое чувство удовольствия от предстоящего любимого дела. Работа в цирке основательно притупила во мне радость от жонглирования. Сейчас это чувство начало постепенно ко мне возвращаться, благодаря чему все негативные эмоции, скопившиеся у меня за последнее время, бесследно исчезли. Я ощутил себя полным необыкновенной энергии и силы. Шары порхали под потолком, словно испуганные бабочки, складываясь в различные, порой неожиданные для меня

самого фигуры. Скорость перемещения шариков была столь велика, что невозможно было уловить глазом, в какой из моментов одна фигура перетекала в другую.

Я наслаждался представлением, сожалея, что единственный его зритель – я сам. Уже ощущая некоторое утомление, я решил встать, чтобы сменить умственное напряжение физическим (до этого я лежал на спине, наблюдая за бабочками-шариками). Свесив ноги с кровати, я оглядел комнату, освещенную неярким кругом настольной лампы, и – застыл в изумлении. Еще раньше мне показалось, что потолок, под которым летали шарики, немного приблизился. Посчитав это результатом излишнего напряжения, я продолжил «представление».

Осмотр комнаты с высоты висящей недалеко от пола кровати преподнес мне массу сюрпризов: казалось, что в моем номере не было ни единого предмета, который бы не оторвался от своего привычного места и не повис в воздухе, словно потеряв вес. Происходящее в комнате напомнило мне телевизионные поздравления с Новым годом с борта космической станции, – с детства помню эти улыбающиеся лица парящих в невесомости космонавтов...

Я спрыгнул с кровати, чтобы удостовериться, что всё происходит именно так, как мне представляется. Включив большой свет, я увидел проплывающие мимо карандаши, листки бумаги; около двери, нелепо перевернувшись, застыл в воздухе стул. Даже тяжелый платяной шкаф, который был явно старше меня по возрасту, оторвался от линолеума и, слегка покачиваясь, шуршал задней стенкой о выцветшие обои.

Радостное чувство от новых открытий овладело мною. В то же время где-то в подсознании зашевелился страх. Дело в том, что, жонглируя легкими шариками, я всегда мог контролировать каждое их движение: я точно знал, что, когда я выпущу шары из поля своего внимания, они безвольно упадут вниз, будто птицы, у которых налету вырвали жизнь из тела. Именно поэтому во время представлений в цирке мне нельзя было отвлекаться ни на секунду: только таким образом можно было заставить всю композицию плавно опускаться вниз. В ином случае всё поднятое мной в воздух грозило рухнуть из-под купола на головы зрителей.

Сейчас же, несмотря на то, что я давно отвлекся и от шаров и от того внутреннего сосредоточения, которое позволяло мне двигать предметы, шары, как и всё остальное в комнате, продолжали свое неспешное движение в воздухе.

Понаблюдав за летающими предметами еще несколько минут, я окончательно устал и решил сесть. На парящую кровать садиться не хотелось и, подойдя к стулу, я попробовал опустить его с небес на землю. Не тут-то было! Упрямый стул при соприкосновении с

полом спешил снова от него оторваться и, медленно покачиваясь, принимал свою нелепую позу ножками вверх.

Не зная, что с этим делать, я сел на пол. В это самое мгновение в замочной скважине раздалось два уверенных щелчка, дверь номера распахнулась, и в комнату вошел человек.

[...]

Директор, стоя в дверях, медленно рассматривал происходящее в комнате. В руках он держал нечто продолговатое, напоминающее крышку сундука. Сидя на полу, я следил за его взглядом. Вещи,двигающиеся по комнате, стали – пусть с трудом – вспоминать о гравитации. Вот шумно, как вздох облегчения, опустился на линолеум платяной шкаф, за ним последовала кровать, на которую один за другим начали пикировать расшалившиеся бабочки-шарики. Рядом со мной свалился стул. Я, не вставая с пола, придал ему традиционное положение ножками вниз. Только кусочки бумаги долго еще не хотели успокаиваться и продолжали шуршать о воздух комнаты даже во время нашего разговора с вошедшим.

До того как произнести первые слова, директор ресторана двинулся ко мне и, нагнувшись, вручил мне вещь, похожую на крышку сундука. Это оказалась большая, вставленная в роскошную раму картина, написанная маслом на холсте. Чтобы хорошо рассмотреть ее, я поставил картину на пол, а сам встал перед ней на колени.

Несмотря на мою готовность ко всему, изображенное на холсте, потрясло меня так, что я не мог вымолвить ни слова несколько минут.

На картине было изображено, – конечно, с тем неповторимым оттенком, который придает действительности рука любого настоящего художника, – ровно то, что я наблюдал какие-то секунды назад. Была нарисована комната моего номера с висящими в воздухе предметами. Недалеко от кровати – потерянная сутулая фигура человека, сидящего на полу и смотрящего в сторону, на двери. В дверях стоял человек, держащий в руках темный продолговатый предмет, похожий на крышку.

Потрясенный, чувствуя себя так, словно что-то страшно тяжелое придавило меня сверху, я отставил картину в сторону и пошел к окну. Смотря на черный город с редкими, размазанными желтыми пятнами – фонарями, я процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, расскажите мне всё, иначе я просто свихнусь» – «Конечно, конечно, за этим я сюда и пришел», – ответил он и сел на стул. Его неспешный голос немного успокоил меня. Я стоял к нему вполборота, лицом к окну во время почти всего его рассказа, однако его это не смущало. Видимо, он, в отличие от меня, уже принял всё происходящее как должное. В душе я даже немного завидовал его умиротворенности.

«Если позволите, я не буду сдерживать себя в деталях. Все-таки этого момента я давно ждал. И не только я. У вас есть время и желание выслушать меня?» – начал он не торопясь – так, будто пересказывал слова давно подготовленной, много раз сыгранной роли. Я кивнул, не поворачиваясь в его сторону. В ответ ощутил, что он улыбнулся.

«В этот город я приехал семь лет назад. Мне было тогда около тридцати. Родственников и знакомых у меня здесь не было, но зато имелся кое-какой опыт в бизнесе и небольшие сбережения. Как видите, этого вполне хватило, чтобы устроиться... Впрочем, это только предисловие. По образованию я, как ни странно, культуролог. Мог бы, кстати, даже преподавать в университете! Впрочем, кому это нужно...» – он засмеялся, но прервал сам себя и извинился. «Так вот, – продолжил он, – ресторанный бизнес я довольно быстро наладил на более-менее автономное существование, то есть имел возможность отдавать ему минимальное количество времени при сносном доходе. Городок, как видите, у нас небольшой, приезжих мало, в основном, приходится жить за счет местной публики, которую с трудом, но заманить сюда еще возможно. Есть здесь и несколько продуктовых магазинов, принадлежащих мне... Впрочем, извините, я снова отвлекся... Однако эти подробности необходимы, чтобы понять... дальнейшее.

Бизнесмен никогда не мог убить во мне любителя и ценителя культуры. Кроме того, я страстный коллекционер – знаете ли, порой старинная китайская ваза или редкая книга вызывает во мне больший восторг, чем у иного молодца – хорошенькая женщина.

Приблизительно года через два-три после моего приезда я познакомился с одной девушкой... Мне было с ней как-то просто и – одновременно – необычайно интересно...

У моего друга, – ну, скорее, партнера по ресторанному бизнесу, – был какой-то очередной праздник, наверное, чей-нибудь день рождения. Он старше меня на двадцать лет, но в наших совместных делах такая разница в возрасте только помогала: он опытнее, я – энергичнее...

Так вот: тогда он впервые показал мне коллекцию своих картин. Я об этой коллекции ничего не знал и был приятно удивлен. После осмотра собранных у него дома работ (всего около тридцати) я пришел к выводу, что все они принадлежат руке одного автора, причем из местных. После недолгого словесного поединка с другом (он колебался: говорить мне или нет) я узнал, что художником является его дочь – инвалид по зрению.

Он так и сказал, впервые упомянув о ней при мне: «Моя дочь – инвалид по зрению». В тот раз я ее не увидел и познакомился с Катей позднее. Это совершенно необыкновенное существо. Потом, когда знакомишься с ней поближе, с ее странностью как-то смиряешься. Привыкаешь к этому, что ли?..

Тогда ей было чуть более двадцати. Зрение она потеряла в детстве. О том, как это произошло не любят говорить ни она, ни ее отец. Лишь однажды она упомянула, что это связано с ее погибшей матерью.

Я уже говорил, что мне с ней было всегда как-то легко и просто; она обладает удивительным талантом преображать обыденность во что-то такое... во что-то чудесное. Я помню, как мы с ней в первый раз поцеловались...», – тут он осёкся, зачем-то привстал и снова сел на стул. «Вы, конечно, извините, что я так всё это... пре...преподношу. Но это только потому, что я хочу вам рассказать о Кате. Чтобы вы поняли, какая она. Поверьте, это очень важно для вас. Для нас всех – важно».

Я неопределенно повел плечами в ответ, все еще смотря на ночной город. Он понял это, как знак продолжать.

«Да... Так вот – их дом находится в северной части города: такой двухэтажный, кирпичный, – что-то в стиле барокко, мне всегда их дом напоминал какую-то разросшуюся баню, – впрочем, со вкусом... Я когда один раз при ней сказал, ну, про баню, что их дом – как баня, она ужасно смеялась...» – в этом месте его голос дрогнул, и дальше он продолжал рассказ не совсем в той неторопливой манере, в какой начал разговор. Он слегка стеснялся и перебивал сам себя. Впрочем, ощущение того, что рассказ этот уже не раз произносился и что я – далеко не первый его слушатель, не оставляло меня.

Мне было любопытно.

«Недалеко от их дома был бак, куда свозился мусор из трех-четырех соседних коттеджей. Как-то раз, подходя к их дому, я увидел Катю, которая плыла к баку с какой-то огромной картонной коробкой. Знаете, она никогда не брала с собой палку, – ну, для слепых, – даже если выходила одна в город. И всегда не шла, а плыла – плавно-плавно так ходила... Хотя, может быть, я это так... только мне, быть может, так казалось... Я, конечно, бросился к ней, чтобы помочь. Она узнала меня еще до того, как я произнес что-либо: всегда так узнаёт. Обрадовалась мне и говорит: «Саша, как хорошо, что вы пришли, – она на «вы» меня до сих пор, – как хорошо, что вы пришли! Помогите мне». Я стал помогать. А когда уже свалили коробку в бак, – он почти пустой был, – коробка порвалась и оттуда показалась рама картины. Ее картины. Не помня себя, я кинулся к баку и залез туда с ногами, пытаюсь вытащить почти развалившуюся коробку...

Она так плакала и кричала, пытаюсь остановить меня, что соседи начали выглядывать из окон (отца не было дома, слава Богу, – он тогда по делам уехал в Москву).

Начал накрапывать мелкий дождь, перешедший в затяжной ливень. Мы все промокли, измазались... Что только она тогда мне ни наговорила – обычно такая кроткая

и мягкая, она проклинала меня и пару раз ударила – туда, куда смогла попасть. Однако картины я спас. Я сопровождал ее домой, и тогда впервые стал свидетелем ее истерики, которую она не могла прекратить минут тридцать.

Когда она немного успокоилась и пришла в себя, я начал собираться. «Я всё равно их выброшу или сожгу! Я их ненавижу и вас ненавижу, всех вас терпеть не могу!». Она это говорила, едва присев на самый край кресла, и была так прекрасна, что я не удержался и поцеловал ее. После этого она затихла и не сказала ни слова до тех пор, пока я не стал закрывать за собой дверь: «Саша, обязательно приходите еще! Завтра же приходите! Слышите?». Я глупо кивнул в ответ и от радости кубарем скатился с крыльца, держа в руках перевязанную и размокшую коробку с картинами...

Эти картины так и остались у меня. Ее отец, узнав обо всём, не возражал против этого. Однако с того дня наша дружба с ним начала потихоньку угасать. Он, конечно, отлично понимал, зачем я столь часто хожу к ним домой, и не одобрял этого.

Однажды он позвонил мне поздно вечером и сказал: «Ты же знаешь, она – ненормальная. И инвалид. Она – беспомощный ребенок, место которому – рядом со мной. Зачем тебе эта обуза?».

Дурак! Я ее любил. Я с ума сходил по ней... Да и непонятно, кто из нас был более беспомощен: она, я или ее отец.

На следующий день после случая с коробкой я пришел к ней, и мы впервые заговорили о её работах. Я давно хотел затеять этот разговор, но она всегда сводила на нет мои попытки поговорить о её творчестве. Когда я произносил при ней: «Твое творчество», – она раздражалась и начинала щуриться слепыми глазами в мою сторону. Я чувствовал себя неуютно под этим внимательным взглядом слепых глаз. «Это не мое. И это не творчество», – на этом она замолкала, и я переводил разговор на другую тему.

Отец должен был вернуться только на следующий день, и мы с ней тот вечер провели одни. Она была необычайно серьезна и почти не шутила со мной, как то было в обычае между нами.

О картинах она заговорила сама, когда я разливал чай в небольшие чашки, стоявшие на журнальном столике. Я обожал этот столик: он был так мал, что я мог пить чай за ним, усевшись на мягкий ковёр перед ее креслом – совсем рядом с ее ногами...

Мне кажется, она никогда не знала и не знает, как хороша собой. Как она умудрялась, ничего не видя, следить за своими тонкими длинными волосами – так, что они никогда, даже с утра, не казались не ухоженными – мне совершенно не понятно. Да что там говорить: как она могла писать свои картины, будучи стопроцентно слепа на оба глаза, – вот что должно было удивлять! Но я тогда не столько удивлялся, сколько любил. Знаете,

наверное, так любят только какие-нибудь восемнадцатилетние мальчишки – нежно, трепетно и крайне неумело.

«Саша, ты видел почти всё написанное мной. Что ты можешь сказать о картинах?». Я застыл с чайником в руках и не сразу ответил. «Как человек немного разбирающийся в этом...» – «Нет, – перебила она меня с нетерпением и даже раздраженно, – что ты вообще можешь сказать о них? Оценивать их с точки зрения художественной, эстетической и т.п. – бессмысленно. Это не искусство». Я был несколько озадачен. В глубине души я понимал, что она права: мне самому задолго до этого разговора приходилось ловить себя на мысли, что картины Кати – это всего лишь творчество глубинки. Так сказать – для себя и для ближайшего круга друзей. Только в таком ключе я и воспринимал эти зарисовки нашего городка с размытыми и однообразными фигурами его обитателей. Главным для меня были вовсе не картины, а их автор – самое необычное и притягательное создание во всей Вселенной, – так мне представлялось в то время. Я и сейчас, наверное, считаю также. Просто сейчас всё как-то непоправимо изменилось...

Поскольку я не спешил с ответом, она снова спросила: «Что ты видел на картинах?» – «Ну, в основном, – зарисовки различных мест нашего города: окраины, вокзал, больница...» – «И всё?! – она была в отчаянии. – Это всё, что ты смог заметить? Культуролог чёртов!..» – он остановил на секунду свой рассказ и сделал какой-то жест: я это не увидел, а, скорее, почувствовал.

Он продолжил: «Так и сказала: “Чёртов культуролог!” – я помню, что сильно расстроился из-за этих ее слов, сказанных в раздражении. Теперь я и сам понимаю, как был слеп: да-да, по-настоящему был слеп я, а не она. Она-то всё уже тогда видела... как будет...».

Директор вдруг снова прервался; по скрипу стула я понял, что он встал. Я продолжал стоять перед окном, рассматривая уже начинающую становиться серой предутреннюю темноту городка.

Старый линолеум зашумел под тяжестью шагов: директор приблизился ко мне, и я услышал его дыхание совсем рядом – за своим левым плечом.

Какое-то отдаленное чувство опасности охватило меня: иногда со мной такое случалось в цирке, когда я видел, что наши акробаты – ради забавы и куража – поднимались под самый купол без страховки.

Он стоял за плечом так тихо, что я перестал слышать его дыхание. Томительная тишина заполнила номер почти на минуту. Наконец я услышал его прерывающийся шепот за спиной: «Послушайте, это не ваш город, совсем не ваш. И она – не ваша! Уезжайте

прямо сейчас, прямо сейчас собирайте вещи и – уезжайте. Хотите я заплачу? Сколько вам надо, чтобы вы уехали? Прямо сейчас – уехали?».

Я молчал, не поворачиваясь к нему лицом. Не дождавшись моего ответа, он поплелся к стулу и опустился на него, как приговоренный. Я услышал, как он пробормотал: «Надеюсь, хоть это она не нарисовала...». Затем, уже обращаясь ко мне, он сказал:

«Извините меня: это, должно быть, нервы. Когда я узнал вас, я ужасно разволновался. Мы... я... никто никогда не воспринимал всерьез всё это. А тут – вы... Чёрт!.. Еще раз извините, пожалуйста. Я вас, вероятно, утомил. Я скоро завершу рассказ – опишу самое главное, минуя все эти дурацкие подробности, никого, кроме меня, не волнующие...».

Я повернулся к нему лицом и кивнул, приглашая продолжить рассказ. Тут мой взгляд упал на его руки: в правой был нож. Он, смутясь, и, кажется, разозлившись на самого себя, тут же спрятал его в карман пиджака.

Всё происходящее – в том числе его рассказ – страшно утомило меня. Отсутствие сна после жонглирования отняло последние силы. Я подошел к кровати и почти рухнул на неё. Стул с директором, внимательно смотревшим на меня, стоял в метре от кровати. Видимо, заметив мою усталость, он еще раз спросил, могу ли я его слушать дальше. «Продолжайте», – махнул я рукой.

Внутри не было никакого страха за собственную жизнь: вся эта ситуация вдруг вызвала во мне невыносимое ощущение скуки и неправильности всего происходящего. Однако думать о том, что именно было неправильно, мне не хотелось: душу и тело сковала чудовищная неповоротливость и лень. Впервые мне по-настоящему расхотелось жить.

«В тот вечер она много рассказывала о себе, но больше всего – о своих картинах. Каждая из них появлялась после сновидения или же – после «вспышки», – так она называла свои видения наяву.

Обычные сны ей снились довольно редко, – причем, в основном, они протекали в «слепом» варианте, то есть снились либо звуки, либо некоторый, как она выражалась, «сплав осязания-обоняния-звуков». Такие сновидения она запоминала плохо.

Зато другие сны – яркие, образные и необыкновенно реальные – она запоминала до мельчайших подробностей. В своих картинах она изображала как бы застывшие образы-кадры из этих необычайно рельефных снов. Помню ее слова: «Мне приходится рисовать смутные образы, застывшие силуэты, которые так живы в снах и так мертвы на холсте». Рисовать вслепую ее научил один мастер – из местных, умерший лет пять-шесть назад. Говорят, Смирнов даже приплачивал ему за обучение дочери. Но это – так, – слухи.

Технику такого рисунка я знаю плохо, и, может быть, поэтому мне до сих пор ее картины представляются чудом.

Были моменты, когда мне казалось, что на самом деле Катя только притворяется слепой. Я всегда чувствовал непонятный мне самому страх от такого предположения. Страх от самой этой возможности...

В тот вечер она рассказала и эту свою историю про мать. Надо признаться, достаточно жутковатую историю.

Кате было около шести лет, когда ее мать скончалась, – не помню, наверно, от рака. Это была настоящая трагедия и для Смирнова, и для его дочери. Он, кстати, после случившегося на других женщин даже глядеть отказывался. Правда, мне как-то рассказывали о его давнем романе в столице, но это сведения старые да и мало достоверные.

Катя, несмотря на возраст, была вовсе убита произошедшим. Через несколько месяцев пришлось обратиться к психиатру, поскольку время только обостряло горе девочки. Отец не на шутку испугался потерять свое единственное сокровище – жизнь дочки. Смирнов приглашал даже нескольких известных врачей из соседних крупных городов, ее пытались лечить в том числе и медикаментозно, но эффект был нулевой.

Вот тогда и случилась еще одна трагедия. Сам Смирнов – по крайней мере о нем так говорят большинство знающих его жителей города – считает, что беда случилась из-за какого-то неудачного сочетания лекарств, которыми пичкали Катю, пытаясь вывести ее из редкого для этого возраста психологического кризиса.

Катя уверена в совершенно другой версии событий.

Однажды ночью ей (тогда еще зрячей) приснилась умершая мать. Во сне мать позвала Катю с собой. Девочка отказалась. Тогда мать схватила ее за руку и потащила за собой. Девочкой овладел почти панический ужас, и она стала сопротивляться, кричать, биться. Вероятно, тогда с ней случилась первая истерика, которая потом регулярно мучила ее и окружающих ее людей все последующие годы. По всей видимости, Катя кричала не только во сне, потому что, проснувшись, она увидела рядом встревоженного отца.

Сон о зовущей с собой матери начал повторяться с пугающей частотой. Катя рассказала об этом отцу, и он, окончательно потеряв покой, не оставлял дочь ни на минуту – ни днем, ни ночью.

Примерно через две недели Катя снова увидела во сне мать. Сюжет был почти тот же, что и прежде: мать пыталась ее увести, Катя сопротивлялась (почему ее охватывал во сне такой ужас перед матерью, она не смогла мне объяснить). Неожиданной была концовка этого последнего сна: предыдущие сновидения заканчивались тем, что Катя просыпалась

от страха, так и не увидев, чем завершилась ее борьба с матерью. В этот раз было по-другому: мать вдруг перестала тащить дочь за собой, повернулась к ней и закрыла ей глаза рукой. Стало темно.

Проснувшись, Катя почувствовала боль в глазах. Смирнов тут же отвез ее в больницу, но окулисты после обследования заявили, что глаза абсолютно здоровы. Через две недели девочка полностью ослепла...».

«Послушайте, – прервал его я. – Честно говоря, я жутко устал. Я не в силах сегодня продолжать слушать. Может, мы встретимся с вами как-нибудь еще раз?».

Он помолчал, затем обхватил голову руками и пробормотал что-то неразборчивое. Потом встал со стула и, не прощаясь, вышел из номера.

Я не нашел в себе сил встать и запереть за ним дверь. Уже засыпая, я все ещё слышал звук его удаляющихся шагов. Последней была мысль о необходимости как можно скорее покинуть этот неуютный городишко.

6. В тюрьме

Проснулся я поздно, уже за полдень. Умывшись, спустился в ресторан, чтобы позавтракать. Я едва пригубил кофе, как вдруг почувствовал, что меня кто-то настойчиво трогает за плечо.

Я повернулся и увидел перед собой мужчину средних лет с лицом воспитателя детского сада: улыбчивым и ласковым. В двух шагах от него стоял еще один «воспитатель» – в помятой кожаной куртке и начищенных туфлях.

«В этом городе принято прерывать людей во время завтрака?» – осведомился я. «Нет, что вы, – залюбезничал тот, что трогал меня за плечо. – Мы вас подождем за соседнем столиком». После этого он ненавязчиво сунул мне в лицо милицейское удостоверение и пристроился с приятелем неподалеку.

Завтрак я доел, не торопясь и раздумывая, что делать дальше. Возможные причины повышенного интереса ко мне со стороны местной милиции могли быть самыми различными. Особенно меня беспокоил случай в забегаловке: сколько я ни пытал память в тщетных усилиях вспомнить, что же там произошло, – все было напрасно. Я доел, расплатился и подошел к «воспитателям».

«Вам нужно проехать с нами в отделение», – совсем не по-детсадовски доложил мне товарищ первого, того, что любезничал со мной раньше. Я кивнул. «Вам бы лучше вещи свои это... тоже бы», – засуетился первый. Я указал ему на футляр и сказал, что все самое ценное со мной. Глаза второго сразу стали строгими. После этих моих слов он гораздо пристальнее следил за футляром, чем за мной.

Мы направились к выходу. Ресторан был совершенно пуст: даже официант в потертом костюме бесследно исчез где-то в глубинах подсобных помещений.

Меня посадили в самый стандартный «уазик». «Странно, что они до сих не спросили у меня паспорт», – подумалось мне. Напарник в помятой кожаной куртке через секунду после этой моей мысли обратился ко мне с вопросом о документах. «Надо крепче держать свои мысли в узде», – сказал я себе. Сколько раз замечал: стоит мне только потерять над собой контроль, как мои мысли тут же бессознательно ловятся и воспроизводятся окружающими.

Единственное, что меня по-настоящему беспокоило в данную минуту, так это вероятность возвращения в цирк. «Ни в коем случае нельзя допустить этого». Я неожиданно почувствовал, что внутри начинает образовываться что-то очень нехорошее. Перед глазами всплыл образ сиреневой змеи, увиденной мною в поезде, – той, что погубила сантехника. Слава Богу, усилием воли я сумел изгнать змею с мысленного горизонта.

«Значит, Аркадий Васильевич Налимов», – почти нараспев продекламировал написанное в моем паспорте милиционер с ласковым лицом. Я кивнул. Мне никогда не нравилась фамилия моего отчима.

Дальше ехали молча.

В отделении мне задали несколько вопросов, касающихся того, как я попал в городок. Историю с сантехником (конечно, в самых общих словах и без подробностей о девочке) они выслушали с большим недоверием.

«Почему я собственно задержан?» – осмелился я спросить под конец своего краткого рассказа. Ласковый внимательно посмотрел на меня и сказал: «Три дня назад недалеко от городского вокзала произошел взрыв... – тут он запнулся, потер подбородок и продолжил, – или что-то очень похожее на взрыв... В результате этого... взрыва погибло трое человек. У нас есть свидетели, что именно вы были там в момент обрушения здания. Вы вошли туда, а когда вышли – закусочная разлетелась на куски».

Мое сердце остановилось, и к горлу подкатил никак не проглатываемый ком. И так, я – убийца. Я – убийца трех человек. С осознанием этого мне предстояло жить далее.

[...]

«На куски...» – автоматически повторил я. «Вот именно! – почему-то обрадовался коллега «воспитателя», словно я уже признался во всем, в чем должен был признаться. – На куски! Как разбитая ваза – была закусочная и нету!». Все в отделении (а нас внимательно слушали еще двое милиционеров, т.е. всего четверо) оживились, будто это событие заботило их все последние три дня.

Я понял, что всё сказанное мною дальше только навредит мне. И я замолчал, сказав, что требую адвоката. Они задали мне еще пару вопросов, но, видя, что я не отвечаю, увели меня в местную «кутузку». Сегодня, судя по всему, я проведу ночь именно здесь.

«Поймите, – сказал ласковый, запирая за мной решетчатую дверь, – мы вас ни в чем не обвиняем. Однако вы – единственный, кто может нам объяснить, что случилось три дня назад в той закуской. Подумайте об этом!».

Поведение милиционеров насторожило меня. «Во всем этом есть что-то от игры, – подумалось мне. – Или я уже вижу игру там, где следует видеть только действительность, реальность?».

В кутузке я был один. Было ли это нормальным или нет, я не знал, так как не имел счастья бывать ранее в подобных местах.

Я сел на какую-то зеленоватую лавку и стал размышлять о том, что делать далее. Как назло, голова была пуста и напоминала по ощущениям сырой подвал в заброшенном доме. Думать не хотелось.

Сначала где-то неподалеку раздавались голоса милиционеров, потом установилась могильная тишина. Слышался только звук капающей воды в невидимом умывальнике. Я начал впадать в приятную полудрему. Мысль об убитых мною людях спряталась куда-то в подсознание и не спешила выходить на поверхность.

Потом я, вероятно, заснул.

7. Сон

Даже сейчас я не могу уверенно сказать, что всё увиденное мною в кутузке было только сновидением. Но проверить так ли это или нет, я до сих пор не смог и навряд ли когда-нибудь смогу.

Через неопределенное время я услышал легкие шаги. Коридорный пол был покрыт неприятно-серой плиткой, ходившей ходуном при малейшем движении. Каждый шаг по этому полу сопровождался пронзительно хлюпающими звуками. По крайней мере так мне показалось, когда я шел сюда с двумя соглядатаями в погонах.

Тот, кто сейчас приближался ко мне, был либо почти невесом, либо знал места на полу, по которым можно идти беззвучно.

Стараясь не делать резких движений, я приоткрыл глаза и вытянул шею в попытке с лавки увидеть нежданного гостя. Несмотря на смутный свет, льющийся из далекого и грязного коридорного окна, я сумел разглядеть идущую ко мне женщину.

Она была одета в какое-то легкое летнее платье желтоватого цвета, и почему-то напомнила мне смешного утенка с детской полузабытой открытки. В ее медленной

походке и длинных волосах было нечто от плывущей по воде птицы. В левой руке она держала черный продолговатый предмет.

Подойдя к двери моей кутузки, она опустила пальцы правой руки на решетку и не спеша начала ощупывать холодные прутья. Ее невидящие глаза смотрели мне в лицо.

Никакого страха или удивления я не испытывал. Была только некая слабость во всем теле: не хотелось ни говорить, ни двигаться.

Я стал бороться с этой скованностью, и мне удалось приподняться ей навстречу. Сделал я это крайне неуклюже, пошатываясь, словно дрессированный медведь из нашего цирка, – был такой номер, в котором мишка изображал подвыпившего мужа, пришедшего домой под утро.

Я заметил легкую улыбку, промелькнувшую у нее на лице. Женщина протянула мне навстречу свою руку с черным предметом, замеченным мною издали. Это оказался мой футляр с шариками, недавно сданный милиционерам под надежную охрану.

Увидев его, я почувствовал прилив сил и так обрадовался, будто не жонглировал уже лет десять. Я взял футляр из ее рук и тут же открыл его, высыпав шарики вниз. Не успев прикоснуться к полу, они порхнули вверх и окружили гостью разноцветным веселым хороводом. Моя радость словно передалась всему окружающему: шарики-бабочки садились ей на плечи, кружили вокруг головы, шуршали о складки платья.

Сначала Катя пыталась спрятать улыбку и, явно сдерживая себя, только слегка заигрывала с летающими вокруг нее бабочками. Однако, когда (неожиданно для меня самого) с места сорвалась зеленая лавка, издавшая страшный скрежет, – до этого она была намертво привинчена к полу, – женщина не выдержала и звонко расхохоталась на весь коридор.

Я не унимался. Разноцветные бабочки облепили желтое платье моей гостьи, как большой цветок, а потом вместе с ней порхнули вверх. Я закружил всё в немислимый хоровод: развевающиеся волосы Кати, вырванные с цементом решетки, лавку, куски стен и, кажется, себя – вместе со всем остальным. Кружась, она продолжала весело и по-детски смеяться. Невероятное, ни с чем не сравнимое ощущение счастья охватило меня, поглотило полностью, без остатка. Именно тогда я познал радость отдавать, радость любить, ничего не требуя взамен.

К крутящемуся разноцветному колесу присоединялось все больше и больше прилетающих откуда-то предметов. Я понял, что уже давно не контролирую происходящее, но совершенно не тревожился. Я знал главное: вреда смеющемуся рядом со мной утенку я никогда не причиню. И моя беззаботная умиротворенность и любовь

контролировали кружащийся хаос предметов гораздо лучше, чем натренированная ловкость жонглера.

Потом сознание оставило меня.

[...]

8. Дорога

Я ехал на заднем сидении автомобиля, припечатавшись к кожаной спинке так надежно, будто находился здесь уже не один час. За рулем сидел мужчина с короткой стрижкой и массивным затылком. Я сразу же узнал директора ресторана.

Заметив, что я очнулся, он изобразил улыбку и спросил, как я себя чувствую. «Неплохо», – ответил я и стал массировать затекшую шею. Директор замолчал и продолжал сосредоточенно смотреть на вечернее шоссе. Судя по всему, мы были далеко за пределами города. Ни о чем спрашивать не хотелось. Я закрыл глаза, и мы ехали минут двадцать под усыпляющий гул двигателя.

«Я везу вас на центральный вокзал соседнего с нами города, – сообщил мне наконец директор. – Там вы сможете сесть на поезд и уехать в любом удобном для вас направлении». Я открыл глаза и кивнул. Сейчас мне хотелось со всем соглашаться – с любым мнением и с любой ситуацией. На душе было легко и прозрачно. Он повернулся ко мне, держась за руль левой рукой, и передал что-то завернутое в пакет: «Здесь ваши новые документы на другое имя, а также деньги, – не беспокойтесь, в основном, деньги, принадлежащие вам».

Я молча взял пакет и засунул в карман куртки. Совсем стемнело. За окном замелькали огни какого-то крупного города.

Спустя полчаса мы подъехали к большому зданию вокзала.

«Берите билет прямо сейчас – на какой-нибудь ближайший по времени поезд, который увез бы вас подальше от этих мест», – сказал мне директор, заглушив мотор.

Когда я почти вылез из машины, он повернулся и положил мне руку на плечо: «Аркадий... Так ведь вас, кажется, зовут? Вы хорошо понимаете, что в наш город вам ни в коем случае нельзя возвращаться. Свою... свою роль вы сыграли. Все произошло именно так, как она говорила. Точнее – рисовала».

«Катя приходила ко мне?» – спросил я почти машинально. Он отрицательно покачал головой: «Нет. Я не знаю. Сам до конца не понимаю смысла всего произошедшего. Но главное вы сделали. Вы сделали очень хорошее дело – и для себя, и для Кати».

Я пожал плечами: «Я не понимаю вас. И плохо помню все произошедшее». Он махнул рукой: «Может, оно и к лучшему. Уходите. Уезжайте».

Я захлопнул дверку автомобиля и пошел к вокзалу. В руках у меня был только футляр с шариками, который я нащупал рядом с собой на сиденье автомобиля, как только очнулся, – еще не осознав, что куда-то еду.

Не оборачиваясь, я следил за звуком удаляющейся машины директора. Через некоторое время я услышал визг резко разворачивающегося автомобиля и повернулся ему навстречу. Директор остановил машину недалеко от меня и опустил окно. Мы смотрели друг на друга на расстоянии нескольких метров.

«Я хотел сказать вам спасибо!» – проговорил он и вдруг улыбнулся счастливой улыбкой. Затем он высунул голову в открытое окно и почти шепотом сообщил мне: «Она научилась видеть, Аркадий! Вы слышите? Она знала это. Ждала вас!» – он вдруг побледнел, убрал голову из окна и резко ударил по газу. Автомобиль умчался, повизгивая на поворотах.

Я снова двинулся в сторону большого и светлого здания вокзала. Было легко на душе. Хотелось идти долго-долго и напевать что-то непритязательное, детское. Я знал, что мне предстоит длительная работа над собой. Я еще многого не умею. Я по-прежнему еще слишком серьезно отношусь к себе и не умею играть с окружающим миром просто и без претензий.

Но главному я, кажется, научился: я открыл в себе способность любить. И это открытие было для меня гораздо важнее, чем то, которое я сделал когда-то в детстве, следя за растворяющимися в облаках шариками, наполненными гелием.

Вокзал встретил меня встревоженным гулом сотен уезжающих и приезжающих людей. И я впервые почувствовал себя уютно с ними.